

*Валентин Курбатов\**

## **ОТКУДА ПРИХОДИТ СОЛНЦЕ...**

*Рецензия на книгу Валерия Писигина «Посолонь. Письма с Чукотки»*



**Об** авторе этой книги хорошо бы писать старинную прозу изнеженным языком Марселя Пруста или Эсы де Кейроша. Главу из «Поисков утраченного времени», где маленькому герою подогревали бы постель перед сном. И не вульгарной печкой, как подогревали газету папеньке Александра Ивановича Герцена, чтобы не застудил пальцы принесенным с мороза листом, а несколькими грелками. Или главу из «Писем Фрадики Мендеса», заставляя героя с розой в петлице и в безупречном галстуке не в Каире, Лондоне или Иерусалиме, а в тверском Торжке или чукотском Анадыре, о которых этот не нынешний человек пишет книги. Контраст был бы очевиден и выдавал в прозаике задержавшегося на столетие художественного притворщика, ставящего на место скучной реальности цветы воображения. И читатель дивился бы простодушной недалёковидности автора, надеявшегося вызвать доверие к такому герою и его писаниям. И только сам прозаик знал бы, что воображение тут ни при чем, потому что он писал обыкновенную правду.

Я как раз в таком положении. Автору книги, которую я собираюсь рекомендовать читателю, любящая бабушка действительно подогревала перед сном белоснежные перины. К своим валдайским или пушкиногорским героям он едет в удобной, как подогретая постель машине, а, выходя к еще непривычным ему читателям, всерьез беспокоится, надеть ли ему пиджак от «Черутти» или «простую» парижскую кофту.

В еще недавние годы он организовывал политические клубы, писал жесткую публицистику, был членом Президентского Совета. Он не может без горячей воды и без хорошего кофе даже на Чукотке, держит дорогую трехдневную щетину, которая, как у недавнего НАТОвского шефа Хавьера Солано, достигается особенно сложными бритвами. И ему бы с такими привычками, как И.Бродскому, – в Рим или Венецию, или, как П.Вайлю, – в Стамбул или Мадрид, а он, как С.В.Максимов, как П.В.Шейн или А.С.Афанасьев – по родной Руси, рискуя, как добрый Павел Иванович Якушкин «получить по очкам». Помните, того крестьяне бивали за то, что при крестьянской одежде в очках ходил, – не шпион ли какой? А у этого вон не одни очки...

Я бы, верно, и не стал писать об этом, чтобы не вызывать заведомого нерасположения читателя, с которым потом поди поборись, но Валерий Писигин сам терпеливо возделывает в нашем демократическом (социалистическом?) сердце эту неприязнь, вспоминая и подогретую постель, и любовь к Франции, и свое капризное «устройство». Ах ты, думаешь, да что ж ты делаешь, что же ты себе дорогу-то затрудняешь? Но, значит, это ему «для чего-нибудь нужно». Было нужно в книжке «Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург», в книге о Торжке («Эхо пушкинской строки»), в книге о Пушкинских Горах («Две дороги»). И нужно сейчас в книге о Чукотке. Я думаю – тут никакой особенной тонкости и изощренного умысла нет. А есть прямота в отношениях с читателем, условие правды. Я вот таков – это, может быть, неприятно, но это я, чего тут сделаешь. А вот это мир, который я вижу с такою же естественностью как себя. Это мир, который я мог просмотреть в высоких коридорах, зная его только теоретически, и который теперь благодарю и на который не могу наглядеться, потому что он необыкновенно богат, горек, чист, печален, низок, высок, невыносим, прекрасен. Это внешнее противоречие автора и мира уже заставляло рецензентов подозревать писателя в неправде. Как такой избалованный человек может написать неведомую ему «простую» жизнь. Посмеяться, поди, хотел или в Радищевы поиграть, художественной политикой потешиться, а жизнь не далась.

А только я прочитал все его книги, и вижу, что он пишет действительно открытым сердцем, и что мир действительно интересен ему во всех проявлениях, а в мире более всего тот, о ком сегодня не пишет не то что журналистика, а и проза, – обыкновенный прохо-

жий, «повседневный» человек, кто бы он ни был: глава администрации, кочегар, учительница, охотник, бомж, шофер, директор комбината, неграмотная старуха из тундры и девушка с перспективами Оксфорда. Все. Всё. Вся жизнь. Я видел, как его встречали читатели в Пушкинских Горах. Да и не читатели, а сами герои его книги об этой земле – те же учительницы, продавцы, библиотекари, почтальоны. Их не обманешь. Ему радовались, его слушали, благодарили, вы спрашивали про Чукотку, которую через него уже чувствовали родной, рассказывали о себе, жили книгой и в книге, не подозревая, что об их обыкновенности можно рассказать так просто и это окажется светло, горько и желанно.

И я сам не знаю, в нем ли дело, в его ли даре видеть и слышать самое простое, или в том, что мы сами потеряли из виду жизнь. Проза пишет или тонкости психологии, или окружающее безумие, а «нон-фикшн» (извините!), документальная наша литература – валютных проституток, преуспевающих политиков, звезд эстрады, «победителей жизни». А жизнь-то, жизнь, а человек труда (скажешь «человек труда», и смутишься: советчины захотел? мало тебе? опять «Правду» подавай?) – это-то всё где? Неужели так вот сразу всё живое и человеческое и умерло со смертью Союза, как, по Розанову, с революцией в три дня исчезла Россия будто и не было? Давно ли мы видели этого обыкновенного человека в «деревенской прозе», в великих очерках В.Овечкина, К.Паустовского, Е.Дороша, И.Васильева, в толстых журналах и в малых областных «правдах». И вот нет как нет. И всё будто по-прежнему народным именем делается, а что под этим словом разумеется, – Бог весть. Разве что отвлеченное «шахтеры», «профсоюзы», «врачи», «учителя», но все без лица. Лицо-то оно мешает, требует милости, сострадания, сорадования, прямого дела. А от «шахтеров» и «учителей» можно отделаться «решениями» и «обсуждениями».

Так вот Писигин, – не единственный ли теперь писатель возвращает в литературу обыкновенную жизнь и обыкновенного человека с его проблемами, бытом и безбытностью именем и судьбой, детьми и смертями, и почти всегда с портретом, чтобы мы его и на улице могли узнать. И не выбранного какого-нибудь, как это все-таки было у великих очеркистов недавнего прошлого, без всякой «установки», а именно «первого встречного», в котором жизнь незащищеннее всего и оттого виднее. Тогда-то ведь все-таки писали «с

расчетом» – на власть надавить, поддержать новое дело. А сегодня какая «власть» и какое «дело» хоть в чем-то зависят от газет?

На Чукотку его привел замысел экзотический, «писательский». Книжек-то уж несколько написал, и книжек, встреченных высоко и благодарно, – вот и «искусился». Ему захотелось увидеть первого человека нового тысячелетия, который родится там, где восходит солнце и где начинается день России и мира. И он прожил в ожидании этого события с конца ноября 1999 года по конец января 2000 –го в Билибино, Анадыре и бухте Лаврентия. Ну, а пока ждал этого первого человека, пока готовился, выпрашивал, надеялся и разочаровывался, «между делом» в «письмах друзьям» написал большую и, похоже, пока самую значительную из своих книг.

В ней много дорогих наблюдений о природе, быте, культуре, что бы и всякий иной приезжий непременно отметил и в «письмах» выговорил, – таков глаз путешественника. Но отличие этого наблюдателя, что он всё видит человеческим сердцем, торопящим общую радость и страдающим от неразумия и «временности» жизни:

*«Возле жилых домов нестройными рядами стоят контейнеры... стоящий у дома контейнер не просто железный ящик, но еще и овеянная вера в возможность покинуть Крайний Север. Присутствие контейнера создает владельцу ощущение временности пребывания, а значит, и временности бедственного положения. Занесенный снегом и видимый из окна железный ящик, – частичка желаемого и воображаемого материка. Так столичный путник, вынужденно поселившийся в провинциальной гостинице, не выпускает из виду свой чемодан, который даже не распаковывает. Он надеется убраться из гостиницы на рассвете, первым же проходящим поездом».*

Ведь они сами-то под окном этих контейнеров не видят, и не слышат, как они связаны с другими привычными и тоже не слышными словами «борт» и «материк».

*«Можно ли представить, чтобы жизнь, та самая, которая даруется Богом, была наполнена лишь одним – ожиданием возврата?.. Люди приезжали на Север в расцвете сил, в надежде и уверенности, что за несколько лет смогут заработать достаточно, чтобы устроить жизнь... И вот, приехав на два-три года, оставались на десять, на пятнадцать, на двадцать... Казалось, еще немного, еще чуть-чуть... Но исчезает страна, рушится быт, и ему на смену приходит безбытность. Умом человек все понимает, но сердце от-*

*казывается смириться: материка, куда стремился, о котором мечтал, больше не существует. Признать это страшно. Это значит согласиться с тем, что жизнь прошла... в ожидании жизни. Прибывший с Севера вдруг обнаружил, что материк, подобно легендарной Атлантиде, ушел на дно. Не территорией (все как стояло, так и стоит), а человеческими душами и человеческим отношением. Россия «старанием» безжалостной власти и безучастием измученного народа ушла на дно и в одночасье едва ли поднимется».*

И всё ухватывается за всё и всё важно. Заглянет в магазин и выпишет цены. Я всё-то не буду за ним повторять, а несколько отмечу: хлеб – 16 р., молоко – 50 р. литр, масло – 150 р. кг, чтобы и читатель мог вместе со мной через несколько страниц вспомнить эти цены, когда речь пойдет о медсестре Марии Ивановне Кузишиной (вслед за автором хочется называть все фамилии, чтобы хоть так выразить благодарность чуду жизни этих людей), уберегшей от туберкулеза половину детей Чукотки при нынешней зарплате в 800 рублей, которую к тому же вовремя не выплачивают:

*«Мария Ивановна ходит в магазин лишь за хлебом, потому что на остальные продукты этот великий врач, спаситель и охранитель Севера может смотреть только через стекло витрины. Мы справедливо чтим мертвых, тех, кто ценою собственной жизни спас, уберег, защитил. Возлагая цветы на могилы, стоим в безмолвии, склонив голову, или произносим слова благодарности, обращенные к праху. Что же мы не чтим тех, кто, отдав нам жизнь, все еще остается среди нас? Неужели такой подвиг менее значителен и не достоин нашего преклонения и благодарности?»*

Какой уже для них материк, какой отпуск при десяти тысячах за билет в один конец? И я не знаю, как читают они какой-нибудь «Коммерсантъ», где депутат Госдумы Ирина Хакамада пока не знает, где будет встречать Новый Год – «наверное, это будут Канары, Эмираты или остров Святого Маврикия... даже и не припомню, когда в последний раз встречала Новый год на родине».

Писигин приводит эти выписки в конце каждого «письма» без комментариев – о нравах, истории, давней и нынешней, – цитирует газеты, проблемные исследования, книги великих предшественников, и они необыкновенно расширяют исторический горизонт книги, словно поднимая каждый факт и каждую судьбу к свету и поворачивая их неожиданным, глубже всякого комментария, образом.

Сам автор никого не судит, как не судят и герои. Они *живут*. А он забывает, зачем приехал, и пишет, и пишет судьбу за судьбой, понимая на наших глазах что-то необыкновенно важное, чего, может быть, не знал, а мы, если и знали, то забыли, – что каждый человек каждой нации драгоценен и каждое слово, если оно излетело не из праздных уст, поднимает из глубины первородный свет языка и культуры. И пусть читатель простит меня за еще одну длинную цитату. Она обыкновенна, но именно обыкновенностью лучше всех моих определений скажет об интонации книги и о забытом чуде любящего слушания. Автор слушает старую чукчанку, родившую восемь детей, шестерых из них в тундре:

*« Я старался запоминать всё сказанное и делал записи, чтобы не ускользнула ни одна реплика. Сосредоточиться было трудно, потому что хотелось смотреть на Марию Васильевну, на ее лицо, глаза и, конечно, на руки. У старой чукчанки руки особенные. Они кажутся уставшими, огрубевшими, измученными, и с внешней стороны напоминают зимнюю тундру с замерзшими реками-жилками и грядками сопок – морщинками. Взгляд у Марии Васильевны внимательный, но бесхитростный. Жизнь, как ни ломала, как ни разубеждала и ни разочаровывала, ничего не смогла поделаться с нею. Ее голос – тихий, нежный, даже жалобный, сохранивший интонации, обороты и выражения, которыми разговаривала Мария Васильевна двадцать, сорок и шестьдесят лет назад.*

*Язык народов Крайнего Севера и особенно чукчей, несмотря на обилие твердых знаков, жесткое соседство гласных, включая букву «ы», с глухими и шипящими согласными, тих и мягок. Им не накричишься, не выразишь злобу или ненависть, не позовешь в атаку, не споешь «Марсельезу». Этот язык для неторопливой передачи памяти, для легенд и преданий, он – для разговора на малом расстоянии, когда собеседники рядом».*

И как же прекрасна рассказанная старой чукчанкой история ее любви к своему мужу – русскому брянскому мужику, как высока баллада о Марии и Иване, которые при встрече, не зная языка друг друга, одной силой любви обещали беречь друг друга и детей, и посреди всех трудов и бед сдержали это слово. И ни разу не сказав слова «счастье» ни на чукотском, ни на русском языке, явили его детям и ближним. И уж не могу не пересказать эпизод, как Мария рожала четвертую дочь, когда агитбригада привезла в стойбище фильм «Тихий Дон». Только муж ушел посмотреть кино, а она родила. И ки-

но хочет посмотреть впервые в жизни. И она одевается потеплее (мороз-то за 50!) и глядит с улицы в дырочку, проделанную в палатке, где показывают фильм, и переживает, и успевает вернуться раньше мужа, и как ни в чем ни бывало встретить его с дочерью:

*«Если бы создатели фильма знали, что на краю земли, в тундре, только что родившая чукчанка, стоя на коленях в жуткий мороз, смотрела в дырочку в палатке их трехчасовой фильм, то уже одним этим зрителем были бы счастливы. И если бы присуждали самые высокие премии, включая Оскара, не только за лучшие роли и режиссуру, но еще и самому великому кинозрителю всех времен и народов, то не сомневаюсь, что таковой была бы определен единогласно. Им стала бы Мария!».*

Многие герои на протяжении книги буду болеть, погибать, работать до изнеможения, изредка радоваться и снова работать, не спрашивая, как именно «богатство России будет прирастать Сибирью» и при чем тут они. У них есть день. Завтра будет другой. Зябнет библиотекарьша, потому что запили кочегары. Им дали зарплату – полгода не платили – как не запьешь:

*«Их бы выгнать да набрать других, хороших, непьющих, но где их возьмешь? Где отыщешь кочегаров, которые будут полгода работать за просто так? Только у нас. А где найдешь таких библиотекарей? А врачей? А учителей? Нет, нет – таких, как мы, нигде не отыщешь».*

Еще недавно в пору своих политических игр, он бы, пожалуй, подпустил тут иронии – вот, мол, на каком народе ездим. При этом, как всякий политик, употребляя объединительную форму глагола, на самом деле имеет в виду противника, – что это тот ездит, а сам он за этот добрый народ борется. А тут только горькое удивление – действительно, где еще такой благодарный и терпеливый народ, объединенный Чукоткой в отдельное, привязанное друг к другу целое, по которому они потом, если случается уехать на материк, тоскуют, потому что уже не могут найти этого единства и внутренней чистоты. Ведь и тут он рассказал о начальнике комбината, добывающего золото, у которого дочери учатся за границей, о главе администрации района, о профессиональном зверобое, о местных школьных красавицах и детях, мечтающих о городе-саде, а всё будто и правда об одной семье – так живо близки они все: от молодого священника отца Сергия, который радуется, что половина года Пост, и ему легче, чем другим, перемогать нехватку самых необходимых продуктов, до

продавщицы Клавдии, по которой сверяют погоду даже летчики: работает она спокойно – заправляйся, и лети, никого не слушай, а гоняет покупателей, даже из дому не выходи – будет пурга. И конечно, больше всего о проблемах коренного населения, о драме мечтательного политического произвола, когда «цивилизованные власти» хотят добра и сгоняют со своей земли целые поселки и народы, как здесь согнали науканцев, надеясь открыть им счастье новой культуры, а оставляющих тоску и потерянность. И сейчас бы им можно вернуться на места, где жили поколения предков, и заняться прежним трудом, да уж некому:

*«Живущие сегодня – это не те самые чукчи и эскимосы, которых когда-то загоняли в совхозы. Это – новые поколения, выросшие в интернатах и тундры не знающие. Кроме того, что не осталось «тех самых» чукчей, нет и «тех самых» нас. Нет и того государства, и его обязательств тоже нет. Ничего прежнего у нас не осталось, кроме наших бед».*

И во что значит верный замысел книги! Обстоятельства ведут его из Билибино, где, он чувствует, ему первого человека нового тысячелетия не дожидаться, в Анадырь, а оттуда уж совсем в «крутую» Чукотку – поселок Лаврентия, откуда ему хочется сбежать тотчас, но в котором всё понемногу словно светает для него, и хоть он по-прежнему сомневается (дети не рождаются по желанному расписанию, даже если губернатор Чукотки просит присмотреть за этим событием и, конечно, не оставит без поощрения), а все-таки ждет... И пусть меня простит рассудительный читатель, я, знавший о замысле автора за несколько месяцев до его воплощения, и считавший затею художественным капризом, сейчас уверен, что он был вознагражден за свет и любовь, которые сберег в каждом слове книги, в каждом сердечном движении.

Потому что младенец-то родился! Мальчик! Роман. От матери Эльвиры Росхином из поселка Энурмино на берегу Ледовитого океана. «Родился, – как записано в скучных документах роддома, – 1 января 2000 года в 0 часов 15 минут. Живой. Головкой. Масса 3750. Рост 56 см. Окружность головки – 38 см., груди – 39 см.»

Кажется, я задыхался вместе с ним, когда бежал в роддом под северным сиянием над пустым поселком, встречавшим Новый год, и понял его в этом смятенном восклицании, словно оно было подлинно обращено ко мне: «Поверишь ли, но, когда я, обомлевший, не отрываясь, смотрел на это теплое и радостное создание, во мне не-



вольно пробудились строки из Евангелия *«Истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь»*.

Когда-то один великий монах сказал: Человек – это бог с маленькой буквы. Я тоже остро почувствовал это вместе с автором. И мне почему-то кажется, что этот маленький Роман будет счастлив, потому что его ждали не только родители и автор книги, но и все мы, кто будет читать ее и ждать вместе с ним. И его жизнь будет разумнее, чем она была у нас, а земля его вместе с поселком Энурмино, выправится и будет похожа на ту, какой ее видят чукотские дети в рисунках, приведенных в книге, а люди, на тех, каких ждет в своем сочинении ученица 11 класса Е.Денисова из Билибино:

*« ...Может, когда-нибудь в России все встанет на свое место, и мы начнем все сначала, начнем с добра и взаимопонимания...Я хочу, чтобы сохранилось только душевное милосердие, когда мы любим и прощаем друг друга. Я все отдала бы, чтобы не видеть на наших улицах грязных, худых, голодных, измученных и просящих милостыню стариков»*.

Я прожил с этой книгой счастливые и ободряющие дни, и теперь знаю, где восходит солнце, и какие люди встречают его первым, чтобы проводить его *посолонь* (вот и это позабытое русское слово, он вернул к первоначально простому его смыслу, вынув из игрового ремизовского пространства), проводить на бесконечные просторы бедной России, сытой Европы и самонадеянной Америки, чтобы однажды мы увидели, что мы все – только *люди*.

И Бог вещь, почему – чувствую себя после этого трудного чтения спокойнее и тверже.

*Псков, август 2001 г.*

\* Валентин Яковлевич Курбатов, литературный критик, литературовед, прозаик.